

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Шестов Лев Разрушающий и созидающий миры.  
The time is out of joint..w. Shakespeare[1 - Распалась связь времен... В.  
Шекспир (англ.). ]

## I

Пятьдесят лет тому назад, в бытность свою в Париже, Толстому случилось однажды присутствовать при смертной казни. Он нигде подробно не рассказывает о впечатлениях, вынесенных им от этого ужасного зрелища. Только однажды в “Исповеди” встречается у него следующее краткое замечание: “Когда я увидал, как голова отделилась от тела и то и другое врозь застучало в ящике, я понял – не умом, а всем существом, – что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка и что, если бы все люди в мире по каким бы то ни было теориям с сотворения мира находили, что это нужно, я знаю, что это не нужно, что это дурно”. Толстой был тогда еще молодым человеком – ему было что-то около тридцати лет, и вот тогда уже он находил возможным противопоставлять свое личное суждение суждениям всех существующих и существовавших с сотворения мира людей. И, без всякого сомнения, в приведенных словах нет никакого преувеличения. Во все мире за все время его бесконечного существования нельзя было бы найти такую силу, которая могла принудить Толстого отказаться от его убеждения и признать смертную казнь не то что нужной или хорошей, но имеющей хотя бы какое-нибудь оправдание. Это – с одной стороны. С другой же, очевидно, и у Толстого не было той силы, которая могла бы заставить людей перестать казнить своих ближних. Теперь, почти через пятьдесят лет после его путешествия в Париж, он снова с тем же негодованием и с той же страстью восстает против смертной казни: “Не могу молчать”, – кричит он на весь мир, – и снова безрезультатно. Теперь он уже не неизвестный молодой граф, путешествующий по Европе, теперь он самый знаменитый из всех живущих на земле людей, теперь его слышит весь мир. Но и теперь его громкий протест, как и тогда его молчаливое негодование, не оказывает никакого действия. Его слышат, но с ним не считаются и продолжают казнить. Толстой не уступает и не уступит; мир тоже не уступает и не уступит, никогда не уступит: это знают все, это знает и сам Толстой.

Этот случай необыкновенно характерен для Толстого. Вся жизнь его – есть непрерывная борьба. Он хочет преодолеть и переделать действительность, которую он искренне, от всей души ненавидит, и в борьбе с ней развивает необыкновенную, титаническую мощь и силу.

Люди восторгаются Толстым, преклоняются перед ним, но действительность не поддается, остается тою же, что и прежде. Она даже как будто вдвойне торжествует: ведь Толстой, огромный, колоссальный Толстой – тоже ее детище, плоть от ее плоти, кровь от ее крови. Он принадлежит ей, он, протестующий и проклинающий ее. Своего великого Толстого она никому не отдаст...

Тогда же, за границей, Толстому пришлось увидеть еще вторую смертную казнь – но уже не от руки человека. Умер его старший брат, добрый, умный, хороший человек. Вдруг, неизвестно почему заболел и через год тяжелых мучений скончался. Опять ужас, опять Толстой мог бы повторить, что, если бы все существующие и все существовавшие от сотворения мира люди стали бы убеждать его, что это нужно, что это хорошо, – он знает, что это дурно, безусловно не нужно, что этого быть не должно. Но он даже уже не говорит этого, и теперь, через пятьдесят лет, он не обращается к природе, как обратился к людям со своим страстным призывом: “Не могу молчать”.

С людьми бороться кажется возможным, негодовать против природы – безумие.

Все знают, чем и как ответил Толстой на эти две смерти. Он вернулся в Россию, сперва было занялся литературой и литературно-педагогической деятельностью, но вскоре женился и исключительно отдался своей семейной жизни, личным делам и художественному творчеству. И если бы в то время, т. е. в шестидесятых и семидесятых годах, кто-нибудь попытался сказать Толстому, что его ответ – не ответ, что он не имеет права ни на семейное счастье, ни на деловые радости, ни на художественное творчество, он бы умел дать отпор всякому и защитить свои права от непрошенных учителей. “Я стою у своего дома с кинжалом и револьвером, пусть осмелится кто-либо войти в

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org) него". И голос его звучит с такой решительностью и непреклонностью, что едва ли кто-нибудь без крайней нужды стал бы вступать в борьбу с ним. Каждому ясно, что тут было бы дело нешуточное, и что борьба предстояла не на жизнь, а на смерть. Толстой был готов и умел постоять за себя.

А между тем, по возвращении из-за границы, в жизни Толстого был период, когда он чувствовал, что он погиб, что защищать револьвером и кинжалом нечего, ибо у него нет дома, нет жизни, ибо он сам совсем сошел на нет. Его педагогическая деятельность, как теперь уже для всех очевидно, была лишь попыткой спастись путем какой угодно трудной, сложной, поглощающей работы и заботы от неминуемой гибели. Ему нужно было действовать, нападать, бороться – об этом свидетельствуют в достаточной степени его педагогические статьи, на три четверти состоящие из страстной, резкой, часто несправедливой полемики. Все, что делают учителя и общественные деятели – скверно, все не так. Все нужно радикально изменить, все переделать. Даже впоследствии, после женитьбы, эта вражда к признанным педагогам и земским деятелям продолжала по инерции жить в Толстом, хотя, собственно, причин, ее вызвавших, уже давно не было. Но школьная деятельность, разумеется, не удовлетворила и не успокоила Толстого. Наоборот, она еще более расстроила его. "Я чувствовал, – признается он сам через много лет в "Исповеди", – что я не совсем умственно здоров и долго это не может продолжаться... Я заболел более духовно, чем физически – бросил все и поехал в степь к башкирам – дышать воздухом, пить кумыс и жить животной жизнью".

Каким же образом от этого полубезумного душевного состояния пришел Толстой к тому внутреннему спокойствию, которое, по его собственным словам в "Исповеди", дали ему первые пятнадцать лет семейной жизни? Об этом в "Исповеди" почти ничего не говорится. "Исповедь" рассказывает лишь о том, почему с Толстым произошел переворот в конце семидесятых годов, как же он спасся от своих ужасов в молодости, об этом мы можем судить, вернее, умозаключать, лишь по тем следам, которые его внутренние переживания оставили на его художественных произведениях. В "Исповеди" мы находим всего лишь одно, правда, чрезвычайно важное и ценное для нас указание. "Я бы, – говорит Толстой, – уже тогда (т. е. до женитьбы) пришел к тому отчаянию, к которому я пришел через пятнадцать лет, если бы у меня не было еще одной стороны жизни, неизведанной еще мною и обещавшей мне спасение, – это была семейная жизнь".

Указание чрезвычайно ценное. Во-первых, мы узнаем из него, что еще в молодости Толстой уже знал припадки того отчаяния, которое впоследствии, по его признанию, чуть не довело его до самоубийства. А, во-вторых, что для нас еще важнее, мы можем установить факт, что против самого безумного отчаяния – есть средство, и не то, о котором говорит Толстой, в "Исповеди" (т. е. не религия). Правда, средство временное, не на всю жизнь. Но ведь пятнадцать лет – срок немалый.

## II

Толстой говорит, что средство это – семейная жизнь, т. е. что семейная жизнь спасла его. Как будто похоже на правду – но, если внимательно ознакомиться с теми произведениями, которые Толстой написал в течение первых пятнадцати лет после своей женитьбы, никак нельзя согласиться, что его спасла возможность изведать еще одну неизведанную сторону жизни. Весьма вероятно, что Толстой, если бы не женился, заболел бы, сошел бы, в конце концов, с ума, даже, может быть, покончил с собой. Но это не значит, что семья дала содержание пятнадцати годам его жизни. В нем были живы и иные страсти, увлечения и интересы, в нем были скрыты не только те силы, которые нужны человеку для того, чтобы быть счастливым мужем и отцом. Первые пятнадцать лет его семейной жизни были расцветом его творческих сил: он написал "Войну и мир" и "Анну Каренину". И если теперь он сводит всю свою жизнь этого периода лишь к семейному счастью, то лишь потому, что теперь она уже не нужна ему и потому забыта. Толстой менее чем кто-нибудь другой умеет и, главное, хочет ценить то, что ему сейчас не нужно или бесполезно. С неблагодарностью, которую он так тонко в свое время подметил в Наполеоне, он боготворит свои идеи, пока они по первому зову стройными рядами бегут служить ему, но он же бросает их, когда они обессиливают и не могут больше работать на него, как бросил Наполеон в России своих замерзавших солдат. Такая неблагодарность свойственна, должна быть свойственна всем великим людям. Они умеют без сожаления разбрасывать богатства, ибо в них живет

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org)  
сознательная или бессознательная вера, что богатства будут, были бы только они, великие люди. Топну ногой – и из-под земли явятся легионы. Нет ни одного великого человека, который бы в тех или иных выражениях, вслух или мысленно, не произносил этой фразы. Толстой в этом отношении смелее, беспощадней и беспечнее, чем Наполеон или Помпей. Оттого его слова и учение столь многих отпугивают. Он все разрушает, все уничтожает – чем после этого жить? Но Толстому нестрашно. Или, вернее, страшно, очень страшно. Все, что он рассказывает о своих мучительных кризисах, нисколько не преувеличено: его искренность вне всяких подозрений. Но эти муки так же естественны и нужны Толстому, как женщине муки родов. Сильнейшая, невыносимейшая боль есть признак появления на свет новой жизни. И, как известно, женщина должна добровольно причинить ее себе.

У Толстого невыносимые муки отчаяния всегда предшествуют всяким переворотам в его душе. Так было после первого кризиса, так было после второго. Вспомним, как описана в “Войне и мире” история Пьера Безухова. Пьер постепенно и незаметно погружался в отвратительнейшую тину пошлости. Нелепые и дикие кутежи с Курагиным и Долоховым, потом еще более нелепая женитьба, постылая жизнь с совершенно чуждой ему во всех отношениях женой, безделье и клубное времяпрепровождение, дуэль, масонство и т. д. Пьер, еще молодой человек, до такой степени запутался, что, казалось, для него нет и не может быть спасения. И вот спасение пришло, пришло именно оттуда, откуда его можно было всего менее ожидать и в такой момент, когда, казалось, судьба занесла над Пьером свою руку не затем, чтобы спасти его, а чтобы добить. Момент просветления, очищения Пьер испытал в вечер того дня, когда французы на его глазах расстреляли пять человек русских пленных (заподозренных в поджогах), когда сам он был на очереди к расстрелу и избежал казни лишь благодаря какой-то таинственной, почти чудесной случайности. Вот в каких словах описывает Толстой душевное состояние Пьера:

“С той минуты, когда Пьер увидел это страшное убийство (казнь русских), совершенное людьми, не хотевшими это делать, в душе его была как будто бы вдруг выдернута та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую и свою душу, и в Бога. Это состояние было испытываемо Пьером и прежде, но никогда с такой силой, как теперь. Прежде, когда на Пьера находили такого рода сомнения, сомнения эти имели источником собственную вину. И в самой глубине души Пьер тогда чувствовал, что от того отчаяния и тех сомнений было спасение в самом себе. Но теперь он чувствовал, что не его вина была причиной того, что мир завалился в его глазах, и остались одни бессмысленные развалины. Он чувствовал, что возвратиться к вере в жизнь – не в его власти”. Я, конечно, мог сделать небольшую сравнительно выдержку из тех мест “Войны и мира”, которые относятся к жизни Пьера во время нашествия Наполеона на Москву. Советую читателю, который хочет ближе подойти к переживаниям Толстого, внимательно перечитать все эти места. Они многому научают и многое объясняют, разумеется, в том условном и ограниченном смысле, в каком слова “объяснять” и “научать” применимы, когда речь идет о последних вопросах человеческой жизни.

Как известно, Толстой впоследствии отрекся от “Войны и мира” и от “Анны Карениной”. В своей “Исповеди” он открыто заявил, что его романы были ложью. “Несмотря на то, что я считал писательство пустяками, в продолжение этих пятнадцати лет (после женитьбы) я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за мой ничтожный труд, и предавался ему, как средству улучшения своего материального положения и заглушения в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей”.

Пред нами два автобиографических утверждения Толстого, разделенных приблизительно промежутком времени лет 12–15. Оба звучат с необыкновенной искренностью и правдивостью, хотя по содержанию они взаимно друг друга исключают. Не может быть, чтобы Толстой в “Исповеди” рассказывал неправду, но не может быть тоже, чтобы человек, который думал только о славе и деньгах, так рассказал бы устами Пьера о своей душевной борьбе. Противоречие покажется еще более загадочным и странным, если мы проследим дальнейшую историю, вернее, дальнейшие метаморфозы души Пьера. Получится, будто автор “Исповеди”, злостно – и как будто без всякой нужды – оклеветал автора “Войны и мира”, в конце концов, самого себя.

Мы помним, что расстрел русских пленников произвел на Пьера подавляющее, уничтожающее впечатление. Нет больше никакой надежды, все погребло, все пропало: ни в себе, ни вне себя – нигде не найти спасения. И вот в ночь того же дня, когда Пьер с такой беспощадной очевидностью убедился, что весь мир, вся жизнь – безумная и отвратительная фантазмагория, в ту ночь, когда он окончательно и навсегда потерял всякую веру и всякую надежду, с ним произошло нечто такое, для обозначения чего я нахожу лишь одно слово: чудо. Опять будем говорить словами Толстого. После разговора с Платоном Каратаевым, которого Пьер впервые встретил вечером после расстрела русских пленников, он, как и остальные его товарищи по балагану, улегся спать. “Наружи слышались где-то вдалеке плач и крик, и сквозь щели балагана виднелся огонь; но в балагане было тихо и тепло. Пьер долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте на своем месте, прислушиваясь к мерному храпению Платона, лежавшего подле него, и чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, двигался в его душе”.

Если мы сопоставим и внимательно взглянем в то, что произошло с Пьером в течение одного дня, даже в течение нескольких часов одного и того же дня, мы будем поражены: от крайнего отчаяния и совершенного, окончательного неверия в Бога, в мир и людей, он перешел к твердой, прочной, незыблемой вере в мир и Творца. Ведь это – чудо, самое настоящее, ничем не объяснимое чудо, вроде воскресения Лазаря! Как могло это случиться? Не выдумал ли все это Толстой для того, чтобы, как он рассказывает в “Исповеди”, получить много денег и рукоплесканий? Но если это так, если Толстой все это выдумал, то кто поручится тогда нам, что его писания после “Исповеди” и сама “Исповедь” не есть выдумка и обман ради какой-нибудь пока еще не открывшейся нам цели? Может быть, после смерти Толстого кто-нибудь доставит нам материал, из которого мы убедимся, что не только в первые пятнадцать лет после своей женитьбы, но и последние тридцать лет жизни он писал не то, что в самом деле думал и в чем был убежден, а то, что, по его соображениям, могло ему дать если не деньги и славу, к которым он сейчас и в самом деле равнодушен, то какое-либо иное “благо” – скажем, хотя бы власть над людьми, которая в известном смысле более мила человеку, чем деньги, женщины и даже слава?!

Не будем, однако, торопиться с разъяснением замеченных нами противоречий. Да и вообще, мне кажется, толстовские противоречия, как и противоречия всякой большой и мятежной души, не подлежат окончательному разъяснению. Если вы хотите последовательности, внутреннего лада – изучайте жизнь среднего протестантского пастора, добросовестного профессора или шиллеровского “честного рыбака”. У Толстого же и людей, на него похожих, нужно искать скорей путаницы и беспорядка. Противоречия в их жизни, мышлении и деятельности необходимо выдвигать и изучать, но отнюдь не затем, чтобы претворять их в одном общем синтезе. Вся жизнь и все творчество Толстого носят явные следы непокорности и произвола как в большом, так и в малом. Сейчас приведем несколько чрезвычайно любопытных примеров, которые объяснят и подтвердят наши слова.

В первой части “Войны и мира” Толстому, между прочим, приходится описывать, как полк встречал главнокомандующего Кутузова, во второй, как секли провинившегося солдата, в пятой, как пел знаменитый оперный певец. Если бы ему теперь пришлось это сделать, вероятно, вышло бы у него совсем не то. Тогда, однако, Толстой еще любит многое такое, к чему впоследствии стал равнодушен, но любит, менее всего сообразуясь с тем, что вообще ценят и любят люди. И, что он любил – было хорошо, ценно, значительно, чего не любил – пошло и смешно. И свои суждения он умел высказать с такой неподражаемой уверенностью и искренностью, что они казались абсолютно истинными и невольно заражали.

“– Едет! – закричал махальный.

Полковой командир, покраснев, подбежал к лошади, дрожащими руками взялся за седло, перекинул тело, оправился, вынул шпагу, и с счастливым, решительным лицом, набок раскрыв рот, приготовился крикнуть. Полк встрепенулся, как оравляющаяся птица, и замер.

– Смир-р-рно! – закричал полковой командир потрясающим душу голосом, радостным для себя, строгим в отношении к полку и приветливым в отношении к подъезжающему начальству”.

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org)

Второй пример – описание телесного наказания. "... Князь Андрей наехал на фронт взвода гренадер, перед которым лежал обнаженный человек. Двое солдат держали его, а двое взмахивали гибкие прутья и мерно ударяли по обнаженной спине. Наказываемый неестественно кричал. Толстый майор ходил перед фронтом и, не переставая и не обращая внимания на крик, говорил:

– Солдату позорно красть, солдат должен быть честен, благороден и храбр; а коли у своего брата украл, так у него чести нет; это мерзавец. Еще, еще!

И все слышались гибкие удары и отчаянный, но притворный крик".

Теперь описание оперы. Привожу не целиком, что было бы слишком длинно и для нашей цели излишне.

"Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она. Потом оба замолчали, заиграла музыка, а мужчина стал перебирать пальцами руку девицы в белом платье, очевидно, выжидая опять такта, чтобы опять начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчина и женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться".

Военная команда близка сердцу Толстого. Голос командира полка потрясает душу. Он так выразителен, содержателен, что в нем можно различить три оттенка: он и радостен, он и строг, он и приветлив. В голосе же наказываемого розгами Толстой почти ничего не различает. Его больше занимают взмахи гибких прутьев. А крик солдата – неестественный, притворный, ненужный и назойливый. Опера же – лишь дорого стоящий шум, в знаменитом певце поражают только панталоны в обтяжку...

Впоследствии, как известно, в таком роде Толстой говорил не об опере, даже не о музыке вообще, а обо всем искусстве. И в приведенных трех описаниях сказался весь Толстой с его вечной непокорностью. Он всегда чего-то ищет, чего-то добивается. И то, что помогает ему в его борьбе и исканиях в его великом жизненном деле, то он, не справляясь ни у кого о разрешении, объявляет хорошим, все же, что ему мешает, он столь же произвольно (или, если вам больше нравится, автономно) причисляет к дурному, ложному, притворному, не заслуживающему внимания и интереса. Он сам по поводу переживаний Пьера дает нам драгоценное указание, чем руководится человек, конечно, такой человек, который не повторяет вслед за другими принятых мнений, а умеет и старается в словах выразить свою действительную сущность: "... С той минуты, как Пьер сознал появление таинственной силы, ничто не казалось ему странно или страшно: ни труп, вымазанный для забавы сажей, ни эти женщины, спешившие куда-то, ни пожарные Москвы. Все, что видел теперь Пьер, не производило на него почти никакого впечатления – как будто душа его, готовясь к трудной борьбе, отказывалась принимать впечатления, которые бы могли ослабить ее". Вот основной двигатель Толстого и в больших, и в малых делах. Он соприкоснулся с какой-то таинственной силой, которая дает ему державное право законодательствовать – созидать и разрушать миры. Он принимает то, что ему нужно, он отвергает все, что ему мешает, хотя бы это было величайшей ценностью в глазах всего человечества.

Так судит он о военной команде, о телесном наказании, опере, искусстве, науке, Наполеоне, истории и т.д. – обо всем, о чем ему приходится судить. И этому самодержавию мысли выучило его отчаяние: отчаяние многому выучивает. Даже такой человек, как Гете, черпал свои силы в этом отверженном всеми и навеки проклятом людьми источнике...

### III

Лет пять тому назад вышла книга знаменитого американского психолога Джемса под названием "Многообразие религиозного опыта". Книга во многих отношениях необычайно интересная и даже, пожалуй, прямо замечательная. Джемс по своим умственным привычкам и по своему воспитанию прежде всего – если угодно, даже после всего – ученый, т. е. человек, привыкший к самой строгой осмотрительности. Прежде чем отрезать, он, по русской поговорке, семь раз отмерит. Это в нем драгоценнейшая черта, которая становится положительно неоценимой ввиду его готовности отказаться если не от всех, то, по крайней мере, от многих коренных предрассудков, свойственных той среде, в которой он воспитывался, жил и работал с молодых лет. Уже в самом начале своей

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org)  
книги он ставит столь непривычный, почти неестественный для ученого вопрос: кто дает нам право утверждать, что опыт и переживания нормальных людей должны составлять единственный материал и источник истинных суждений?

Ненормальный человек живет, чувствует и думает; с какой же стати станем мы отбрасывать, как непригодное для познания, все содержание его часто богатой, своеобразной и содержательной жизни? А что, если как раз его чувства и мысли могут привести нас к таким знаниям, даже откровениям, о которых нормальные люди даже и мечтать не смеют? Подчеркиваю: вопрос этот поставлен не мечтателем-поэтом, даже не философом-художником, вроде Шопенгауэра или Ницше. Джемс – один из виднейших представителей современной “положительной” мысли. Его учебник психологии переведен на многие европейские языки и служит настольной книгой для профессоров.

Напомню, что уже почти полвека тому назад этот вопрос в такой же, пожалуй, даже в более резкой и удачной форме, был поставлен у нас в России. Только не ученым, пользующимся большой славой и авторитетом, а малоизвестным тогда писателем Достоевским в его романе “Преступление и наказание”. Свидригайлов, разговаривая с Раскольниковым о галлюцинациях, признает, что галлюцинации бывают только у больных, ненормальных людей, но делает допущение, что это обстоятельство ничего, собственно, против реальности галлюцинаций не говорит. Может быть, условием постижения известного рода реальностей является болезнь: здоровому недоступно то, что доступно больному. [2 – Приведу буквально слова Свидригайлова: “Я согласен, что привидения являются только больным; но ведь это только доказывает, что привидения могут являться только больным, а не то, что их нет самих по себе... Привидения – это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку их, разумеется, незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек и, стало быть, должен жить одной здешней жизнью, для полноты и для порядка. Ну, а чуть заболел, чуть нарушился нормальный, земной порядок в организме, тотчас и начинается сказываться возможность иного мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше”. Свидригайлов еще делает своеобразный вывод: “Так что, – кончает он свое рассуждение, – когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир”. Джемс такого вывода не делает и вообще формулирует свои мысли менее рельефно, чем Свидригайлов.] Тогда же один известный, влиятельный и научно образованный критик, приведя эти соображения Свидригайлова и сопоставляя с ними ряд других мыслей разных героев Достоевского, по своему содержанию и характеру очень напоминавших изложенную мысль Свидригайлова, заметил: “Счастливы народ беллетристы! Когда нашему брату, ученому человеку, приходит в голову дикая мысль, мы не можем сделать из нее никакого употребления. Нельзя даже признаться, что она бывала у тебя в голове! Беллетрист же – дело иное: ему всякая дичь годится. Вложит ее “в уста” действующего лица и прав: никто ничего возразить не может”.

Так вот, дикая мысль Достоевского сейчас положена в основу обширного исследования знаменитого современного ученого. Ненормальность, как и нормальность человека, сами по себе ничего не говорят ни за, ни против его внутреннего опыта. Значительность и незначительность переживаний определяется по совсем иным признакам. Даже более того, особенно важные, интересные и глубокие переживания, как показали наблюдения, свойственны именно людям ненормальным, больным. Сюда, между прочим, относится и вся почти область религиозного опыта. С последним утверждением Джемса представители положительной науки, само собою разумеется, охотно согласятся: для них религия целиком относится к области патологии и является предметом изучения лишь постольку, поскольку вообще подлежат изучению все болезненные проявления нашего духа и тела: их нужно знать, чтоб найти средства бороться с ними. Джемс же, как и Достоевский (только совершенно открыто и смело – время, видно, пришло другое), ищет у больных людей новых истин и озарений, даже новых методов добывания истины. Себя самого он признает, по-видимому, недостаточно больным человеком и почти что считает это своим недостатком, который ограничивает его познавательные способности, так что приходится прямо-таки поступать в науку к ненормальным людям, и в тех случаях, когда, в силу связанной с недостаточной болезненностью ограниченности личного опыта, сам ничего узнать не можешь, полагаться на опыт более счастливых в этом смысле больных людей.

Больше всего Джемса интересует, как оно и вполне понятно, то, что религиозные люди называют откровением. По своему личному опыту Джемс совсем не может судить об откровении, ибо сам ничего такого не испытал. Но из

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org) рассказов и записок верующих, в особенности обращенных, т. е. перешедших от неверия к вере людей, можно узнать много такого, чего сам не видел и не слышал. И Джемс добросовестно изучал, насколько возможно, показания религиозных людей, сличал их между собой и пришел к заключению, что откровение – это факт, с которым нельзя не считаться, и что люди, испытавшие откровение, знают многое такое, чего люди обыкновенные не знают.

Между прочим, приводя показания многих других более или менее известных религиозных мыслителей и никому неизвестных обращенных частных лиц, Джемс не раз ссылается и на нашего Толстого. Но, по-видимому, из всех работ этого последнего Джемс знает одну лишь “Исповедь”. Во всяком случае, несомненно, что либо художественное творчество Толстого ему почти незнакомо, либо он совсем не умел использовать его для целей своего исследования. Это, может быть, объясняется и тем обстоятельством, что Джемс подбирал все случаи ярко выраженной религиозности и, как часто бывает в таких случаях, иной раз придавал слишком много значения ярлыку, внешнему, словесному признанию, если угодно, официальному положению человека, его паспорту. Если данное лицо афиширует себя верующим и, еще лучше, всеми признается за такового. Джемс допрашивает его и внимательно слушает. Называет оно себя безбожником или даже просто никогда громко не говорит о своей вере – он спокойно и пренебрежительно проходит мимо него в уверенности, что от него он ничего не узнает. Так минует он Ницше, Гейне, Ибсена, Шопенгауэра, Ренана и других, которые могли бы его научить очень многому. Я думаю, что отчасти причина в том, что, как признается сам Джемс, ему лично совершенно чужд “мистический” опыт, и он является лишь добросовестным, но объективным, посторонним наблюдателем. При таких условиях приходится придавать слишком большое значение наружным, видимым и осязаемым признакам и нельзя не просмотреть многое существенное.

Нас, однако, здесь занимают не недостатки и неудачи джемсовских начинаний, а его удачи. Важно, чрезвычайно важно уже и то, что осторожно, с опаской высказанная когда-то Достоевским мысль теперь не только не боится осуждения ученой критики, но имеет за собой крупный научный авторитет. Допускается источник познания, который прежде встречался в лучших случаях добродушной насмешкой. Можно уже говорить, сам Джемс много и серьезно говорит об откровении.

Особенно нас интересует то, что непосредственно относится к переживаниям Толстого. Мы оставили Пьера (т. е. Толстого) в тот момент, когда с ним произошло великое чудо внезапного просветления. Произошло оно, как мы помним, тогда, когда этого менее всего можно было ожидать, после того, как, под влиянием пережитых им нечеловеческих ужасов, он потерял всякую веру и всякую надежду, когда он уже даже не боролся больше, не мог думать о борьбе, когда у него опускались руки, и он пассивно, бессмысленно, с тупым отчаянием, шел навстречу своей гибели, – словом, в тот момент, когда для него уже было все и навсегда кончено.

И вот оказывается, что случай с Пьером чуть ли не является в своем роде типическим. Мало того, выясняется, что такого рода переживания, как прекрасно показывает Джемс, были источником того религиозного учения, которое в шестнадцатом столетии потрясло всю Европу. У нас, с легкой руки Достоевского, принято пренебрежительно относиться к Лютеру и его учению. У нас думают, что протестантство – это протест здравого смысла и средней добродетели против всего, что было загадочного, таинственного, обещающего и прекрасного в католичестве. Если угодно, некоторый смысл и правда есть в таком предположении. Современное нам протестантство в значительной степени является обожествлением урезанной, буржуазной морали. Но относить это на счет Лютера было бы в такой же мере несправедливо и исторически неверно, как обвинять христианское учение в ужасах инквизиции.

Христиане, т. е. называвшие себя последователями Христа, действительно жгли на кострах и пытали людей, но Христос этому не учил. И Лютер был слишком глубокой, мощной и одаренной натурой для того, чтобы измышлять религию для оседлого и устроеного буржуа. Его основная догма о спасении верой (та как раз, которую особенно высмеивает и рационалистически оспаривает Толстой) менее всего предназначалась к тому, чтобы облегчить благополучный переход в будущую жизнь благополучным обитателям здешнего мира – как думают те, которые знают учение Лютера, как ряд догм, оторванных от человека, их создавшего.

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org)

И, в самом деле, каким возмутительным и плоским кажется учение, утверждающее, что христианин может спастись верою и только верою, а отнюдь не делами, не своими личными заслугами! В сущности, эта догма как бы выворачивает наизнанку все Евангелие, в котором столько раз и так настойчиво утверждается, что вера без дел мертва. Но послушайте самого Лютера: “Бог, – говорит он, – есть Бог смиренных, несчастных, угнетенных, отчаявшихся, уничтоженных; сущность его в том, чтобы вдохновлять смиренных, питать голодных, возвращать зрение слепым, утешать опечаленных, оправдывать грешников, воскрешать мертвых, спасти погибших и утративших надежды... Единственное препятствие, которое Бог встречает на своем пути и которое не дает Ему совершить Его природное, Его главное дело – это дьявольское мнение человека о самом себе: человек считает себя правым и справедливым и не хочет быть подлым, презренным и заслуживающим осуждения грешником. Потому-то подходит Богу взять в руки свой молот, т. е. закон, чтобы изломать, разбить, обратить в прах, уничтожить гордость этого дикого зверя, именуемого человеком... И так велика тупость человеческого сердца, что в этой борьбе своей совести, когда божественный закон исполнил свое дело, он все еще не хочет принять догму благодати и понять смысл того, что с ним происходит. Он все хочет спастись иным путем. “В будущем, – говорит он, – я исправлюсь, я стану делать то-то и то-то”. Но, если ты не поступишь совершенно обратно, если ты не откажешься от Моисея с его законами, если в своих муках и ужасах ты не почувствуешь Христа, страдавшего, распятого, умершего за твои грехи – тебе никогда не спастись. Что можешь представить ты? Свою власяницу, тонзуру, свое целомудрие, повинование, бедность? Что все это? Что дает тебе закон Моисея и дела закона? Если бы я мог, благодаря моим делам и заслугам, прийти к Христу и достойно любить его, – для чего же понадобилось, чтобы Он был предан ради меня? Но нет ни одного сокровища ни на небе, ни на земле, которое было бы достаточно ценно, чтобы искупить мои грехи – только был один Сын Божий, поэтому и понадобилось предать Его. Чтобы спасти меня, Он отдал не овцу, не вола, не золото, не серебро – Он отдал самого себя, всего себя – за меня, самого отверженного, самого презренного из всех грешников. Сын Божий умер – это вновь дает мне мужество. Я для себя принимаю эту смерть: в этом истинная сила веры. Ибо Он умер не для того, чтобы оправдать праведников, но чтобы оправдать грешников, чтобы они стали друзьями Бога, наследниками трона небесного”.

“Сын Божий умер – это дает мне мужество, в этом истинная вера” – если можете постигнуть, преклонитесь пред глубиной этого величайшего и таинственнейшего парадокса. Он стоит на пути всякого, кто не хочет или не может удовлетвориться обыденными представлениями о сущности жизни. Его нельзя обойти. И Толстой, как мы видели, испытал это. Пьер уверовал только после того, как почувствовал, что Бог умер, что он сам навсегда и окончательно погиб, что нет для него ни на земле, ни на небе спасения. Почему так – я не знаю и не умею объяснить; больше того, я понимаю, что такое утверждение находится в противоречии с логикой, с здравым смыслом и со всем повседневным опытом человека. Но есть еще какой-то опыт, который заставляет остановиться перед собой даже научно вышколенного, осторожного и строго беспристрастного человека. “Чем более вы чувствуете себя погибшим, – так резюмирует Жемс приведенные выше слова Лютера, – тем более вы именно тот грешник, который уже спасен жертвой Христа. Эту доктрину Лютер вынес из собственного опыта”. Из собственного опыта – вы слышите, вы понимаете, что это значит?! Из такого же реального опыта, как и тот, из которого наука до сих пор выводила свою теорию естественного развития или свой закон причинности. Но как же согласить эти два опыта? И согласимы ли они? Вероятно, нет. По крайней мере, до сих пор никто не умел согласовать их. То, что кажется истиной человеку одного опыта, представляется явной нелепостью для человека другого опыта. Отсюда знаменитое *credo quia absurdum*, [З – верую, ибо невероятно (лат.).] на которое так часто и так несправедливо нападает Толстой. Но если есть два столь различных, применяющих друг к другу эпитет *absurdum*, опыта; если один человек с ужасом, другой с надеждой говорит: Сын Божий умер; если один и тот же человек в один и тот же день, как это было с Пьером, в один и тот же час, как это было с другими, может разрушить и вновь создать целый мир, – то разве стоит верить в нашу логику, в наши доказательства, в наши законы и жизненные правила?

IV

Пьер-Толстой разрушил и вновь создал мир. И стал жить в новом, так



Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org)  
неожиданно и чудесно созданном мире. Разумеется, у Толстого была не только семья, как можно думать по приведенным выше словам “Исповеди”. У него была цель жизни, т. е. он чувствовал свою жизнь осмысленной. Все кругом него казалось ему прекрасным вплоть до душистого бульона и мягкой, чистой постели. Одновременно с разрушенным старым миром уничтожились и все эмпирические затруднения, которые прежде отравляли жизнь Пьеру. Даже жена его Элен, которая одна стоила тысячи всяких других трудностей и, пожалуй, чего доброго могла совершенно уничтожить гармонию новых настроений Пьера, даже и жена его чудесным образом была сметена с его пути, как и державшие его в плену и терзавшие его французы. “Ах, как хорошо! Как славно!” – говорил он себе. По старой привычке он делал себе вопросы: “Ну, а потом что? что я буду делать?” И отвечал себе: “Ничего. Буду жить. Ах, как славно”. То самое, чем он прежде мучился, чего он искал постоянно, цели жизни – теперь для него не существовало. Эта искомая цель жизни теперь не случайно не существовала для него только в настоящую минуту жизни, но он чувствовал, что ее нет и не может быть. И это отсутствие цели давало ему то полное, радостное сознание свободы, которое в это время составляло его счастье. Он не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру, – не веру в какие-нибудь правила или слова, или мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого Бога. Прежде он искал Его в целях, которые он ставил себе. Это искание цели было только искание Бога. И вдруг он узнал в своем плену не словами, не рассуждениями, но непосредственным чувством то, что ему давно уже говорила нянюшка: что Бог – вот Он, тут, везде. Он в плену узнал, что Бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами Архитектоне вселенной... “Есть Бог, тот Бог, без воли которого не спадет волос с головы человека”. Написано все это Толстым для того, чтобы добиться денег и славы? Ведь все это, как мы увидим, так похоже на то, что впоследствии, уже после “Исповеди”, после своего второго кризиса написал Толстой о людях, уверовавших в Бога. И вообще все те черты, которые подмечаются в обращении Пьера, должны быть свойственны, и по новейшему учению Толстого, истинно религиозным людям. Пьер был всегда добр, ласков и весел, всегда располагал к себе окружающих и – в противоположность тому, что было раньше – всегда знал, что ему можно и нужно и чего нельзя делать. А ведь Толстой и до самого последнего времени неизменно держится того мнения, что религия главным, чуть ли не исключительным образом нужна для того, чтобы ясно, просто и легко разрешать страшный и для неверующих вечно мучительно неразрешимый вопрос: что делать? Пьер на этот вопрос умел ответить и ответил. Значит, была у него вера?

У Левина, душевный кризис которого изображен не с такой уже любовью и старанием, как кризис Пьера (Толстой сам в то время уже вплотную подходил к новым искушениям), тоже все ясно, просто и понятно. И тем не менее, конец “Анны Карениной” – совсем не то, что конец “Войны и мира”. Недаром Толстой писал Фету: “Берусь за скучную и пошлую “Анну Каренину” с единственным желанием поскорей опростать себе место для других работ”. Это признание неоспоримо искренне: Толстой тогда уже слышал где-то на окраине своей души глухие, чуть слышные пока раскаты грома – предвестники великой грозы. Но вся “Война и мир” ясно и несомненно свидетельствует о том, что в те годы (1864-1869) Толстой в такой же степени считал себя обладателем веры, в какой считает себя и теперь. Если Бог есть жизнь, если присутствие Бога в человеке узнается потому, что в человеке пробуждается сила жизни, то безусловно Бог был в Толстом эпохи “Войны и мира”. Во все, что он предпринимал, он вкладывал столько свежей энергии и молодой, радостной страсти, точно он был первым человеком, вчера только явившимся по воле Творца в мир, совершенно не знающим горького опыта и бесконечных разочарований нашего многовекового исторического существования. Он был “эгоистом”, но эгоистом в лучшем смысле этого слова – он умел многое любить, и эта любовь связывала его не только с родными и близкими, но и со всей Россией. Он еще ближе подошел к народу и умел его взять не только в настоящем, но и в прошлом. Каждая строчка “Войны и мира” говорит об этом. Вспомним хотя бы эти столь прославившиеся слова: “Благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотой и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменится презрением и жалостью”. Какая глубокая страсть, какой великолепный и искренний пафос! Мы могли бы без конца приводить отрывки из “Войны и мира” и даже из “Анны Карениной”, которые как нельзя более доказывают, что Толстой совершенно радикально излечился от своего прежнего неверия и сомнений. По крайней мере, если позволительно думать, что о болезни и здоровье мы вправе судить по жизни и деятельности человека. Больному все кажется увядшим, постылым, ненужным, бесцельным.

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Здоровый во всем видит радость, красоту и свежесть молодости. Посмотрите, как Толстой этого периода чувствует и описывает природу – солнце, звезды, небо, лес, реку. Посмотрите, как чудесно передается у него торжественное благолепие церковной службы, которую он так беспощадно высмеял впоследствии. Ни одной стороны жизни не оставил он без внимания, и все, даже безобразие, при его прикосновении получает смысл и оправдание, иногда даже превращается в красоту. Крепостное право – ведь его не видно в “Войне и мире”, хотя Толстому приходилось непрерывно описывать жизнь бесправных рабов. Даже ужасы войны, в конце концов, являются только темным фоном, придающим хотя грозную, но прекрасную и заманчивую таинственность всем событиям человеческой жизни. “Война и мир” есть один непрерывный гимн, бесконечное славословие Творцу, создавшему дивный мир с его неисчерпаемыми богатствами на радость и утешение творению. Это ли не вера?

И вдруг, к величайшему недоумению и ужасу тех, кто знал, любил и ценил Толстого-писателя, словно сразу порвались все струны того чудесного инструмента, на котором разыгрывал он свой гимн Творцу – появилась “Исповедь”. Все, что я говорил до сих пор, – заявляет он дрожащим и прерывающимся от волнения и сдержанного чувства голосом, – все ложь и притворство. Ничего я не знал, ни во что не верил, но мне нужны были деньги и слава, и я притворялся всезнающим учителем. Теперь, вдруг почувствовав ужас приближающейся смерти, я всенародно каюсь и отрекаюсь от всего, что писал прежде...

У нас в России “Исповедь” в течение четверти века не могла быть напечатана; она распространялась лишь в рукописи и не могла быть предметом публичного обсуждения, так что о ней сперва многие знали только по слухам и понемногу к ней привыкли (человек ко всему привыкает) – оттого она и не произвела соответствующего впечатления. Но если бы она вышла в России своевременно, т. е. непосредственно вслед за “Анной Карениной”, она должна была бы произвести потрясающее впечатление. Если “Война и мир” и “Анна Каренина” лживы – то где же правда? Если Толстой, искренности и правдивости которого так верили, притворялся и лгал и притом из таких низменных побуждений, то кому же после этого верить? Толстой ничего не предпринял для того, чтобы помочь читателю своему ответить на этот вопрос. “Прежде я лгал, притворствовал, учил, сам ничего не зная – все ради денег и славы, теперь я искренен, говорю правду и знаю, – упорно повторяет он, – и только. Разбирайтесь сами”.

Посмотрим же, чем новая вера отличается от старой и в чем на нее похожа. Посмотрим тоже, при каких условиях произошел второй кризис, как он проявился вовне и к каким результатам привел он.

V

Несомненно, что главным вдохновителем “Исповеди”, как и всего толстовского творчества последних тридцати лет, был страх смерти. И этого скрывать не нужно, ибо в этом нет ничего позорного. Скорей наоборот, человек, который никогда не ужасался смерти и прожил всю свою жизнь так, как будто смерть и не ждет его впереди, должен поражать нас своей почти животной ограниченностью. Пафос ужаса смерти – величайший из известных людям пафосов. Трудно даже вообразить себе, до чего плоской стала бы жизнь, если бы человеку не дано было предчувствовать свою неминуемую гибель и ужасаться ей. Ведь все, что создано лучшего, наиболее сильного, значительного и глубокого во всех областях человеческого, творчества – в науке, в искусстве, в философии, в религии, – имело своим источником размышления о смерти и ужас пред ней. Как мы помним, даже первая половина жизни Толстого получила свою силу и творческое напряжение только потому, что мысль о смерти и гибели доводила его до отчаяния. В этом отношении второй кризис по существу своему почти ничем не отличается от первого. Но отысканное в молодости средство спасения Толстой теперь считает никуда не годным и ищет иного, такого, которое выдержало бы все испытания. До сих пор, как он рассказывает, его веру в Бога (он теперь, нужно заметить, свою прежнюю веру не называет верой, но я считаю возможным, даже необходимым говорить о его прежней жизни его прежними словами) была вера в радости и хмель жизни. Он вспоминает известную восточную сказку, символически изображающую нашу жизнь. Человек висит на тонкой ветке над глубоким колодцем. Ветку непрерывно грызут две мыши, черная и белая, так что каждую минуту она может оборваться. На дне колодца – страшный дракон, который проглотит его, как

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org)  
только он упадет. Выйти из колодца – тоже нельзя: наверху стережет страшный зверь. И вот человек, в столь ужасном положении, вдруг увидел несколько капель меду. И, забывая зверя, мышей и дракона, он бросается на мед и наслаждается его сладостью. Вспоминает он также индусскую легенду о Шакья-Муни, вышедшем из дворца, в котором он так жил, что все ужасы жизни были от него скрыты, и встретившего нищего, старика и мертвеца. Наконец, он делает большие выписки из Экклезиаста и повторяет вслед за библейским мудрецом его приговор жизни: суета сует и всяческая суета.

Все это образы, которые наиболее полно отражают в себе отношение Толстого к жизни. Толстой, однако, настаивает, что он был духовно и физически здоров: он мог просиживать по 8-10 часов за работой в кабинете и не отставал от мужиков в поле за косой. Все это так, но в здоровье человека, которого преследуют восточная сказка, легенда о Шакья-Муни и стихи Экклезиаста, плохо верится. Правильнее было бы, если бы Толстой повторил то, что сказал о себе 15 лет тому назад: “Я чувствовал, что я не совсем здоров, и долго это продолжаться не может”. Да собственно говоря, в его “Исповеди” встречаются такие описания его душевного состояния, которые прямо говорят в пользу нашего предположения. “Случилось, – рассказывает он о себе, – то, что случается с каждым, заболевающим смертельною внутреннею болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной не обращает внимания, потом признаки эти повторяются все чаще и чаще и сливаются в одно нераздельное по времени страдание. Страдание растет, и больной не успевает оглянуться, как уже сознает, что то, что он принял за недомогание, есть то, что для него значительнее всего в мире, есть смерть”. Если принять еще в соображение, что Толстому тогда не было еще пятидесяти лет, что физически он и в самом деле был крепок и силен, что жизнь его сложилась так благоприятно, как только он мог того желать, т. е., иными словами, что все ужасы, испытанные Толстым, были беспричинны (в обыкновенном смысле этого слова), то нет никакого сомнения, что психиатр ни минуты не колебался бы в диагнозе и предложил бы свои услуги и свой опыт для лечения. Но если мы и готовы согласиться с диагнозом психиатра, то все-таки мы не можем не радоваться, что при втором, как и при первом кризисе, Толстой никому не вверил своей судьбы и сам стал лечить себя.

Гейне передает, что у негров существует поверье, что заболевший лев старается поймать обезьяну и разорвать ее, и таким способом излечивается. Толстой, обыкновенно, тоже так лечится. В первое же свое заболевание он с бешенством набросился на обезьян. Он разрывал на части и Наполеона, и военную науку, и педагогику – и, как мы знаем, надолго оправился от своей болезни. Во второй раз повторилось то же. Он стал искать обезьян и, конечно, нашел их в достаточном количестве: современная действительность, вернее, действительность вообще представляет в этом отношении разве только *embarras des richesses*. [4 – Затруднение при выборе при изобилии (фр.).] Он напал на культурное общество, прогресс, медицину, церковь и с неутомимостью и силой человека, только что взглянувшего в лицо смерти, наносил удары направо и налево, никому и ничему не давая пощады: прочтите не только “Исповедь”, прочтите “Перепись в Москве”, “В чем моя вера”, “Так что же нам делать?” Как и в первый раз, Толстой помиловал только Каратаева – смиренный, многострадальный русский народ. Но и то ненадолго. Постепенно угасала в нем и вера в народ, уступив место вере в Бога – добро, о которой у нас и будет сейчас речь.

Пока установим тот факт, что с Толстым во второй раз произошло чудесное превращение. Во второй раз он сам принужден был разрушить мир и сам же создать новый. Настаиваю на слове “принужден”. Все, что рассказывает Толстой в своей “Исповеди” и в других сочинениях второго периода, все дышит необыкновенной искренностью, все правдиво. Паскаль сказал когда-то: “Je ne puis arrouiver que ceux qui cherchent en g&#233;missant”. [5 – я одобряю только тех, кто ищет, стеная (фр.).] Толстой пришелся бы по вкусу Паскалю. “Я мучительно и долго искал, не из праздного любопытства, не вяло искал, но искал мучительно и упорно, дни и ночи, искал, как ищет погибающий человек спасенья”, – читаем мы в “Исповеди”. Пред ним стояла смерть – и несмотря на то, что она уже второй раз явилась и что, как казалось бы, на этот раз Толстой, наученный прежним опытом, должен был бы знать, что с ней возможно бороться и что даже ее победить можно, он так же ужаснулся, как и в первый раз, словно бы ему показалось, что это другая, новая, еще невиданная смерть. Три года проводит он в безумной, отчаянной борьбе с ней и снова выходит победителем. Теперь, как в свое время Пьер, он утверждает, что уже больше не боится смерти, что он больше не боится ничего в мире. Но если снова придет она, – что будет с Толстым? Узнает ли он ее теперь? Или опять

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org)  
ему покажется, что она является впервые? В самом ли деле он так спокойно встретит ее, или снова всколыхнутся в нем все присмирившие ужасы, снова начнется титаническая нечеловеческая борьба, разрушение и созидание миров? – Не знаю, как смотрят другие, не знаю, что думает сам Толстой, но для меня весь смысл изучения великого земного дела великого русского писателя в этом вопросе. И мне кажется, что каждый раз, когда Толстой соприкасается с матерью смертью, в нем рождаются новые творческие силы. Оттого, вероятно, меня преимущественно влечет к себе Толстой измученный, растерянный, испуганный, изнемогающий, и я более равнодушен к Толстому торжествующему, к Толстому победителю, Толстому учителю. Когда я в сотый раз читаю “Смерть Ивана Ильича”, “Крейцерову сонату”, “Три смерти” – у меня дух захватывает. Я чувствую, говоря словами Лютера, что Бог взял в руки свой страшный молот-закон, но я также чувствую, что страшный молот – в руках Бога.

Сделаю одно указание, которое, на мой взгляд, здесь будет особенно уместным. Я уже говорил, что душевное состояние, описанное Лютером, свойственно не одному ему. Оно является не только у пропитанного средневековыми догматами монаха, но у каждого человека, который пытался выходить за ограду обыденной, устроенной жизни. Не догматы, не воспринятое учение подсказали Лютеру его замечательные слова. Прав был Джемс: Лютер вынес их из собственного опыта. То же вынес и Толстой, но что еще любопытнее и замечательнее, то же вынес и Ницше и выразил это с не меньшей страстью и пафосом, чем Лютер. Я уже однажды приводил это место из Ницше, но считаю возможным и нужным вновь привести его для того, чтобы пролить хоть немного света в ту крошечную тьму, которая, волею богов или нашими стараниями, сгустилась как раз там, где решаются человеческие судьбы. “Школа страдания, великого страдания, – говорит Ницше, – знаете ли вы, что только в этой школе совершенствовался до сих пор человек? То напряжение души в беде, которое дает ей силы, ее ужас при мысли о неизбежной гибели, ее смелость и находчивость в искусстве выносить, претерпевать, истолковывать, утилизировать несчастье – все, что когда-либо было ей дано глубокого, таинственного, хитрого, великого, – разве все это она получила не от страдания, великого страдания? В человеке соединены творение и творец; в человеке есть материя, обломки, глина, грязь, бессмыслица, хаос; но в человеке же есть также творец, художник, твердость молота, божественный созерцатель, счастье седьмого дня: понимаете ли вы эту противоположность? И понимаете ли вы, что ваше сострадание направлено на “творение в человеке”, на то, что должно быть сформировано, разбито, выковано, разорвано, переплавлено, очищено, на то, чему по необходимости следует, должно страдать? А наше сострадание – вы понимаете, к чему относится наше обратное сострадание, когда оно восстает против вашего, как против худшего их всех видов изнеженности и слабости?” Разве эти слова продиктованы Ницше не тем же чувством, которое заставило говорить Лютера? Разве вы не видите и не слышите здесь страшных ударов молота Божьего? И разве не о том же рассказывает нам Толстой в “Смерти Ивана Ильича”? И при том Лютер, Ницше, и Толстой не сговаривались. О каждом из них можно сказать, что они вынесли свое “знание” из личного опыта. Толстой не признает Лютера: Лютер говорит о спасении верой, а современное знание и весь человеческий разум никак не могут принять такое учение. Толстой не признает и Ницше:

“Мальчишеское оригинальничанье полубезумного Ницше, – пишет он в одном из самых последних своих произведений, [6 – “что такое религия и в чем ее сущность?”] – не представляющее даже ничего цельного и связного, какие-то наброски бессвязных, ничем не обоснованных мыслей”, или “бессвязные, самым пошлым образом бьющие на эффект писания одержимого манией величия бойкого, но ограниченного немца”. Этот отзыв Толстого о Ницше, так же, как и его критика учения о благодати [7 – Приведу отрывок из книги “В чем моя вера”, чтоб читатель имел пред глазами образец отношения Толстого к чужим верованиям: “Еще с большей торжественностью и уверенностью утверждает то, что после Христа верую в него человек освобождается от греха, т. е. что человеку после Христа не нужно уже разумом освещать свою жизнь и избирать то, что для него лучше. Ему нужно верить только, что Христос искупил его от греха, и тогда он безгрешен, т. е. совершенно хорош. По этому учению люди должны воображать, что в них разум бессилен, и что потому-то они и безгрешны, т. е. не могут ошибаться”. Как верно логически это *reductio ad absurdum* учения о благодати и вместе с тем, как ненужно оно и как мало оно имеет отношения к тому, что происходило с Лютером... ] странным образом противоречат и духу, и букве его собственного учения. “Утверждение, что ты во лжи, а я в истине, есть самое жестокое слово, которое может сказать один человек другому”, – пишет он в “Исповеди”. В другом месте (“В чем моя

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org) вера?») он еще подробнее распространяется на эту тему по поводу Матф. V, 22, “кто же скажет своему брату “рака” – подлежит синедриону, а кто скажет “безумный” – подлежит геенне огненной”. “Рака” значит “ничтожный”. Посмотрите отзыв Толстого о ницше: в нем, как будто нарочно для того, чтобы нарушить любимую заповедь Толстого во всем ее объеме, употреблены оба слова – и “ничтожный”, и “безумный”. Но, как только дело касается учения, Толстой первый подает пример неисполнения собственных правил, словно затем, чтобы предостеречь и спасти от соблазна покорности своих учеников и последователей. Не в моем учении, не в моих правилах и заповедях дело, говорит он всеми своими поступками и всеми своими книгами. Если хотите быть со мной, пренебрегите моим учением.

## VI

Я указал на то обстоятельство, что второй кризис Толстого во всех отношениях является повторением первого. Та же причина – ужас смерти, то же душевное состояние – отчаяние, то же средство лечения – разрывание обезьян и, наконец, то же спасение – вера в Бога. Вот как он описывает свое второе спасение: “Я оглянулся на самого себя, на то, что происходило во мне, и я вспомнил все эти сотни раз происходившие во мне умирания и оживления. Я вспомнил, что я жил только тогда, когда верил в Бога. Как было прежде, так и теперь: стоит мне знать о Боге, и я живу; стоит забыть, не верить в него – и я умираю. Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование Бога, ведь я бы уже давно убил себя, если бы у меня не было смутной надежды найти его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую его и ищу его. Так чего же я ищу еще? – воскликнул во мне голос. – Так вот он. Он есть то, без чего жить нельзя. Знать Бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь. Живи, отыскивая Бога, и тогда не будет жизни без Бога. И сильнее, чем когда-нибудь, все осветилось вокруг меня и свет этот уже не покидал меня. И я спасся от самоубийства. Когда и как совершился во мне этот переворот, я не мог бы сказать. Как незаметно, постепенно уничтожалась во мне сила жизни, и я пришел к невозможности жить, к остановке жизни, к потребности самоубийства, так же постепенно, незаметно возвратилась ко мне эта сила жизни. И странно, что та сила жизни, которая возвратилась ко мне, была не новая, а самая старая – та самая, которая влекла меня на первых порах моей жизни... Только та и была разница, что тогда это все было принято бессознательно, а теперь – сознательно”.

“Вера, – делает отсюда вывод Толстой, – есть знание смысла жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет. Вера есть сила жизни”. Я намеренно подробно остановился здесь на описании второго кризиса Толстого, подобно тому, как раньше столь же подробно остановился на первом кризисе. И теперь снова спрашиваю: чем отличаются они друг от друга? И смело, положа руку на сердце, отвечаю: до сих пор ничем. Даже определение, вернее, чувство Бога вылилось в тех же словах: Бог есть жизнь. Пьер говорил буквально то же. Но теперь Толстой не признает Пьера, как не признает своей же “Войны и мира” и своей “Анны Карениной”, ему нужно напасть на самого себя, каким он был в течение всей своей сознательной и деятельной жизни. Плутарх, описывая последние годы Цезаря, замечает, что Цезарь словно завидовал своей прежней славе и хотел новыми подвигами затмить старые. Новый Бог Толстого тоже не выносит его старого Бога, как новая деятельность его не выносит прежней. Жажда разрушения переходит в жажду саморазрушения. Или, быть может, наоборот? Может быть, началом всему была жажда саморазрушения? Весьма вероятно. Недаром Достоевский утверждает, что инстинкт разрушения в человеке по крайней мере так же силен, как и инстинкт созидания: Достоевский знает эти дела. Но даже и спокойный, ясный Пушкин имел такого рода предчувствия: все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения. Во всем, что делает и говорит Толстой, нельзя не заметить радости разрушения. И это не только потому, что обыкновенно человек пишет или рассказывает о происходивших в нем душевных бурях и опустошениях лишь после того, когда они ушли уже в область прошлого и не грозят больше ничем. Такой момент тоже наблюдается в творчестве Толстого – но он всего не объясняет. Чувствуется, что опасность сама по себе влечет его, хотя он безумно боится ее. Так птица со страхом и ужасом бросается в пасть змеи – какая таинственная сила заставляет идти ее на верную смерть?

Мир погиб, все погибло, я сам погиб, нет Бога, некому молиться, некого просить – из этого рождается новый мир, вера в себя, в Бога, молитвы и

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org)  
упования. В оба кризиса Толстой испытал одно и то же. И вот после второго кризиса, как и после первого, Толстой начинает осуществлять свою веру в жизни, в делах, как он говорит. Частной жизни его, хотя о ней много писали и пишут, мы не знаем, да частная жизнь хотя бы и великого человека не подлежит обсуждению, пока он еще с нами. Но литературная его деятельность дает достаточно материала для выяснения того, что может быть выяснено человеческими силами. Вслед за первым кризисом Толстой дал нам “Войну и мир” и “Анну Каренину”, вслед за вторым – целый ряд религиозно-философских трактатов и немало художественных произведений, признанных всем миром перлами литературы. Первыми произведениями были “В чем моя вера” и “Исповедь”, как предисловие к “Критике догматического богословия”. В “Исповеди”, кроме описания произошедшего с Толстым переворота, есть еще указания на причины, в силу которых он не мог принять христианства ни в одной из существующих исторических форм, иными словами – причины его разрыва с церковью. Для некоторых это представляет тоже немалый, даже, пожалуй, исключительный интерес, но нас это, ввиду поставленной нами себе цели, не занимает. Толстой напал на церковь с той же яростью, с какой он в свое время нападал на Наполеона, но мы знаем уже, что это значит: лев заболел и стал лечиться по своему особенному способу. “Критика догматического богословия”, страшно обидная для истинных чад церкви, часто поражает своей ненужностью даже и тогда, когда формально она вполне убедительна. Мы уже приводили мимоходом образец отношения Толстого к учению о спасении верой. Как догма, оно, конечно, не выдерживает натиска рационализма и в том толковании, которое ему дают ходячие катехизисы, до такой степени слабо, что на него не стоит нападать с такой энергией. То же можно сказать по поводу многих страниц “Критики догматического богословия”. Когда Вольтер чуть ли не двести лет тому назад высмеивал церковную догматику – это имело свой смысл, ибо было для многих новостью. В наше же время повторять вольтеровские опыты совершенно бесцельно, и нужно удивляться, как хватало у Толстого терпенья и охоты так подробно, слово за словом разбирать двухтомное сочинение московского митрополита Макария. Достаточно было сказать несколько слов о том, каковы условия, поставляемые Толстым для признания того или иного положения истинным, для того чтобы всякому стало очевидным, что ни одно из, положений “православно-догматического богословия” Толстым и всеми, признающими общелогические требования Толстого, принято быть не может. И не было необходимости отдельно разбивать догмат о Троице, порознь высмеивать все церковные таинства и т. д. Еще имела смысл борьба Толстого с церковью по вопросам этическим, т. е. о том, как понимать нравственное учение Христа, т. е. можно ли христианину идти на войну, казнить людей, принимать присягу, разводиться с женой и т. д. Все это вопросы в самом деле спорные и, главное, допускающие обсуждение. Вопросы же догматические, как сам Толстой не раз говорит, принимаются на веру либо людьми совершенно невежественными, либо такими, которые из корыстных побуждений исповедуют догматы, им самим ничего не говорящие. В обоих случаях спор излишен и неуместен. Tertium же, по словам Толстого, non datur. [8 – Третьего ... не дано (лат.). ] Поэтому-то “критика догматического богословия” как таковая для нас интереса не представляет.

Но тем более занимает нас то “новое” толкование Евангелия, которое предлагает нам Толстой. Оно находится в связи с его новой религией или, точнее, свою новую религию Толстой пытается построить, по его словам, на Евангелии и только на Евангелии.

Толстой утверждает, что он отнюдь не толкует Евангелия. Книга “В чем моя вера?” с того и начинается. “Я не толковать хочу учение Христа, а только одного хотел бы: запретить толковать его”. Что, однако, означают эти слова? Толстой говорит “толковать учение Христа”. Значит это “толковать Евангелие”? Если нет, то откуда же знать учение Христа? Кроме Евангелия источников нет. Правда, церковь признает еще предание, но Толстой, конечно, не из предания, которое он высмеивает, узнал учение Христа. Значит, не толковать учение Христа все равно, что не толковать Евангелие. Толстой, однако, с этим ни за что не согласился бы ни теперь, когда он в религии видит синтез всех существовавших религий, ни раньше, когда он единственную истинную религию видел в учении Христа. Через страницу после того, как он торжественно объяснил, что не хочет толковать учения Христа и мечтает только о том, чтобы совершенно запретили бы всякие толкования, он приступает к толкованию Евангелия и этим толкованием занимается на пространстве всей книги “В чем моя вера?”. [9 – Я уже не говорю о “Соединении, переводе и толковании 4 Евангелий”, в котором Толстой пускается в самые тонкие вопросы экзегетики и даже в филологические

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org)  
изыскания о значении греческих слов. ] Да оно иначе и не могло быть у Толстого: “Я готов был, – говорит он, – теперь принять всякую веру, только бы она не требовала прямого отрицания разума, которое было бы ложью”. Раз условием веры является разум – очевидно, ни одно учение не может быть принято без критики; также очевидно, как мы сейчас убедимся, что учение Христа даже в той части и в том понимании, которое допускает Толстой, никоим образом не может быть принято разумом. И Толстой, когда хочет, знает это: “... я бы сказал неправду, если бы сказал, что я разумом пришел к тому, к чему я пришел... Разум работал, но работало и еще что-то другое, чего я не могу назвать иначе как сознанием жизни”. А тут еще возникает вопрос: точно ли разум всегда исполняет свои функции объективного исследования даже в тех случаях, когда он торжественно провозглашает своей единственной целью истину. Сам Толстой на этот счет сообщает нам чрезвычайно любопытные вещи: “Истина всегда была истина, но я не признавал ее, потому что, признав, что дважды два четыре, я уже должен был признать то, что я не хорош. А чувствовать себя хорошим для меня было важнее и обязательнее, чем дважды два четыре”. Это ретроспективное признание – поразительно, что все такого рода признания у Толстого ретроспективны, т. е. даются тогда, когда они уже к настоящему не относятся и имеют силу лишь по отношению к прошлому – невольно наводит нас на мысль: да как же доверяться разуму, даже толстовскому или, если угодно, именно толстовскому, раз он склонен на такие компромиссы? Правда, Толстой утверждает, что это у него было только прежде, до пятидесяти лет, а теперь этого уже нет. Но ведь прежде он в себе не замечал такой особенности. А что, если она и теперь сохранилась, притаившись в какой-нибудь едва заметной складке души, что, если и теперь быть хорошим важнее и обязательнее, чем дважды два четыре? Можно и нужно такому разуму верить судьбу важнейшего человеческого дела?! Тем более, что, как мы только что слышали, по собственному признанию Толстого, не разум спас его от отчаяния в самые ужасные минуты его жизни. Работала в нем какая-то чудесная, таинственная сила, которую он почему-то (я говорю “почему-то”, но на самом деле не почему-то, а потому, что то требовал разум) называет ничего не говорящими словами “сила жизни”. Но, так или иначе, Толстой приступает к толкованию и критике Евангелия, к исканию религии (не Бога, а религии – не следует смешивать эти два понятия) под верховным руководством разума. Последуем за ним и посмотрим, что из этого вышло.

## VII

Как всегда, у Толстого выдержки и последовательности мало, и это делает его философско-богословские исследования столь важными и значительными. Даже “Критика догматического богословия” – в конце концов, книга замечательная, ибо помимо вольтеровского, разумного, общечеловеческого, в ней есть много собственно толстовского, т. е. презирающего разум. Какое-то чувство или инстинкт подсказал Толстому, что если Евангелие есть действительно слово Божие, то сущность его нужно искать в наиболее непонятных и загадочных словах Христа, т. е. именно в тех, с которыми разум никак сладить не может, которые разум отрицает всем своим существом. “В чем моя вера” и начинается поэтому с нагорной проповеди. Толстой принимает ее – вопреки традиционным истолкованиям, стремящимся приспособить ее к условиям нашей обыденной жизни и к привычкам разума – целиком, без всяких изменений и дополнений, в буквальном смысле ее и в самом деле определенных и не допускающих различного понимания слов. Что никто до него не понимал так нагорной проповеди, что историческое христианство понимало ее таким образом, как будто бы в ней было сказано прямо противоположное тому, что сказано на самом деле – с этим Толстой не считает. Если до сих пор истинный мир был для всех закрыт – разве из этого следует, что он и на будущее время, навсегда должен остаться закрытым? “Долго я не мог привыкнуть к этой странной мысли, что после 1800 лет исповедания Христова закона миллиардами людей, после тысяч людей, посвятивших свою жизнь изучению этого закона, теперь мне пришлось как что-то новое открыть закон Христа. Но как это ни странно, это было так”... “Я остался опять один со своим сердцем и с таинственной книгой пред собой”. И вот сердце Толстого выбирает из таинственной книги самые таинственные и загадочные слова: “Вы слышали, что сказано древним: око за око, зуб за зуб. А Я вам говорю: не противьтесь злему”. Несомненно, трудно придумать другие слова, которые находились бы в более явном противоречии с нашим разумом и повседневным опытом каждого человека. Я знаю, что были люди, которые верили в эти слова, но я не знаю людей, которые бы их понимали. Здесь именно как раз тот случай, когда можно

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org)  
и должно повторить Тертуллиана: *credo quia absurdum*. Вся очевидность, весь опыт современного и исторического человечества восстает против завета непротивления злу, и полную практическую неприменимость его одинаково хорошо умеет доказать и пятнадцатилетний семинарист, и Иоанн Златоуст. И с тех пор, как европейский мир официально признал Евангелие Божественной книгой, семинаристы и Иоанны Златоусты непрерывно и превосходно опровергали эту заповедь, – ссылаясь, однако, не на откровение, а на свой обыкновенный, человеческий разум. Как известно, каждый раз, когда истина откровения становится невыносимо трудной для человека, он начинает противопоставлять ей и ограничивать ее разумом, хотя очень охотно пренебрегает разумом, если божественная мудрость ни к чему не обязывает. Но Толстой предпринял задачу поистине неслыханную. Последовательно держась (Толстой бывает и последовательным) возмущенной им невозможности отрицания разума, он вступает в полемику с Иоанном Златоустом и всеми церковными богословами, доказывает, что разум может и умеет объяснить слова Христа о непротивлении злу. И здесь последовательность Толстого не случайна: он в самом деле не может отказаться от разума. Но он не может отказаться и от этих слов Христа, т. е. от нагорной проповеди. “Еще с детства, – рассказывает он, – с тех пор, как я стал для себя читать Евангелие, во всем Евангелии меня трогало и умиляло больше всего то учение Христа, в котором проповедуется любовь, смирение, унижение, самоотвержение и возмездие добром за зло. Такова и осталась для меня сущность христианства, то, что я сердцем любил в нем, то, во имя чего я, после отчаяния, признал истинным тот смысл, который придает жизни христианский трудовой народ”. Сердцем действительно можно признать эту часть евангельского учения, можно даже радоваться ее таинственности и загадочной непостижимости, – но как заставить разум санкционировать влечение сердца? И потом, что собственно должна дать в этом случае, по мнению Толстого, санкция разума? Зачем она? Почему не обойтись без нее? Повторяю и подчеркиваю: я считаю толстовское толкование нагорной проповеди безусловно правильным. Даже больше, я считаю, что по поводу нагорной проповеди (но отнюдь не по поводу всего Евангелия) Толстой почти выдержал поставленный себе искус: брать слова Христа такими, какими они дошли до нас, не разрешая себе произвольно ни расширять, ни суживать их значение, и потому он вполне прав, когда, полемизируя с установившимися расширительными и ограничительными толкованиями евангельских текстов, он каждый раз повторяет, что Христос говорит то, что Он говорит, и что если бы Он хотел сказать то, что говорят представители разных церквей, то Он умел бы сказать их словами. Но когда вслед за тем он пытается доказать, что он понимает и может объяснить слова Христа, иначе говоря, что исполнение заветов Христа привело бы к земному счастью не только всех или большинство людей, но и отдельного человека (такой смысл имеет у Толстого “санкция разума”), то поневоле задумаешься. Зачем так очевидно для всех насилловать истину? И почему человек столь колоссального ума не хочет видеть и знать того, что знает не только Иоанн Златоуст или полемизировавший с Толстым Вл. Соловьев, но что знает каждый школьник? Меж тем, Толстой не знает, не хочет знать. Он высмеивает, очень удачно, официальных представителей христианства в своем рассказе о молодом гренадере, прогонявшем нищего и на вопрос Толстого, читал ли он Евангелие, победоносно ответившего: “А ты воинский устав читал?” Не менее удачно подбирает он выдержки из катехизиса в доказательство того, что необходимость согласовать Евангелие с требованиями государства ведет если не к открытому, как у молодого гренадера, то к тайному подчинению Евангелия воинскому уставу. Но все это ведь, в конце концов, имеет второстепенное значение. Люди, называющиеся христианами, исказили из корыстных побуждений учение Христа – кто этого не знает? Существенный вопрос в том, выдерживает ли это учение разумную критику, и если не выдерживает (в чем сомневаться нельзя), то чем пожертвовать: учением или разумом? Вот тот страшный и мучительный вопрос, который не раз уже становился пред людьми. Бывали смельчаки, которые решительно становились на сторону учения, не отступая даже пред необходимостью заявить: *credo quia absurdum*. Но Толстой не мог пойти за ними. Он в этом отношении остался верным сыном своего времени, так упорно (я говорю о последнем пятидесятилетии) стремящемся примирить веру с разумом. Странно это, но это так. Толстой, который, кажется, так ненавидит все современное, в наиболее существенном и важном пункте разделяет наиболее распространенный и, по-видимому, наиболее ложный и мучительный предрассудок нашей эпохи. В одном из своих последних произведений (“Что такое религия и в чем ее сущность”, 1902 года) он прямо так и определяет религию: “Религия есть установленное, согласное с разумом и с современными знаниями отношение человека к вечной жизни, к Богу”. Читаешь и не веришь себе, что Толстой мог написать это, – Толстой, всю жизнь свою борющийся с современной наукой и высмеивавший ее притязания. Да и в самом деле, какая цена может быть



Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org)  
религии, если она определяется современными знаниями, т. е. предрассудками и суевериями нашей эпохи. Сам Толстой со свойственной ему широтой и проникновенностью взгляда говорит, что “через несколько веков история так называемой научной деятельности наших прославляемых последних веков европейского человечества будет составлять неистощимый предмет смеха и жалости будущих поколений”. И такой науке давать решающее слово, когда дело касается религии?! И потом – о каких современных знаниях говорит Толстой? О рентгеновских лучах, микробах холеры или чахотки, о свойствах радия? Очевидно – нет, все это прямого отношения к религии не имеет. Очевидно, он говорит об основных принципах, о предпосылках современной науки – о естественном развитии, о законе причинности и т. д. С этими-то принципами мы, современные люди, должны считаться, когда ищем веры и Бога, хотя знаем, что через несколько веков они будут предметом смеха и жалости для наших потомков. Без Спенсера, Дарвина, Канта, Конта, как моряки без компаса, мы не можем пускаться в дальний путь?! Толстой рекомендует для чтения статью Карпентера “Современная наука” и даже написал к ней предисловие. Собственно, Карпентер не представляет самобытных возражений против современных научных теорий. Можно указать других ученых и философов, которые были еще строже и беспощаднее, чем Карпентер. Вся новейшая гносеология, в сущности, сводится к подрыванию основ научного знания. Посмотрите, во что выродилось кантианство под руками философов марбургской школы или Виндельбандо-Риккертовского направления. Или возьмите хотя бы прогремевший в последнее время прагматизм, считающий Милля своим ближайшим родоначальником. Ни прагматизм, ни современный идеализм не признают даже и возможности знания. То, что оба эти столь враждующие между собой течения называют знанием, есть лишь некая система суждений а priori, та некоторая воображаемая вешалка, на которой размещаются беспорядочные впечатления индивидуумов. Спор между прагматистами и идеалистами идет лишь о природе вешалки. Первые утверждают, что вешалка, как и все в мире, существует не от сотворения мира, а лишь очень давно и сделана она самим человеком для его пользы, ибо все только для пользы и делается, вторые, не отрицая того, что вешалка есть вешалка, т. е. не знание, а суррогат знания, настаивают на том, что, хотя она и сделана для некоторой цели, но отнюдь не для низко утилитарной, а для возвышенной. Но все теории познания, т. е. все теории, ставящие и разрешающие вопрос о сущности нашего знания, единогласно утверждают, что никакого у нас знания нет и быть не может. И что беды в этом нет никакой, ибо, в сущности, нам знания не нужно. Такой глубины скептицизма и такого недоверия к науке не испытала, кажется, ни одна из известных нам исторических эпох. Прикладные науки процветают – в области же общих принципов вы не найдете ни одной объединяющей всех исследователей идеи. По признанию одного из авторитетных немецких гносеологов (Husserl'я), в области логики и теорий познания сейчас происходит bellum omnium contra omnes. [10 – Война всех против всех (лат.).] Мнение Карпентера, что современная наука представляет собой случайный и беспорядочный набор клочков и обрывков приблизительных знаний – есть только вывод из общих положений современной гносеологии. И вот Толстой, давший предисловие к переводу статьи Карпентера и как будто радующийся тому, что Карпентер так остроумно разбивает господствующее среди “образованной толпы” мнение о великих победах науки, этот же Толстой сам настолько верит в науку и именно в современную науку, что дает ей право неограниченного контроля над всякого рода исканиями. И он, как Конт, в конце концов думает, что теологический и метафизический периоды мышления уже миновали и наступил период положительный – хорошего, верного мышления. А ведь как остроумно и тонко он сам высмеивал этот контовский закон!

### VIII

Вера в естественное развитие и закон Конта есть смертный грех нашей современности. Это – то заблуждение, о котором говорит в приведенных выше словах Лютер: оно стоит и будет всегда стоять на пути человеческого спасения. Не только наше время, всякое время считает уровень своего знания очень высоким и стремится своими знаниями, т. е. своей ограниченностью, определить свое отношение к бесконечному. Толстой дал правильное определение того, что принято в образованных кругах называть религией, но эта ученая религия и есть глубочайшее неверие. Я, конечно, менее всего склонен брать на себя защиту каких бы то ни было религиозных или философских догм, тех ли, которые разрывает своей критикой Толстой, или даже тех, которые, как у Лютера его учение о спасении верой, возникают из непосредственных переживаний и потому запечатлены свежестью, глубиной и

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org)  
силой чувства. Монашеская власяница, шлем, забрало и латы средневековья красивее и поэтичнее современной шелковой рясы или черного профессорского сюртука, но все эти красивые и некрасивые наряды – только внешность и форма, и хотя отчасти они и открывают кроющуюся под ними жизнь, искания и борьбу, но еще больше скрывают их. Догмы же, оторванные от внутренних переживаний, увядают и высыхают, как опавшие с дерева листья, и потому в глазах наших могут иметь очень ограниченную ценность. Но равнодушие к догмам далеко не означает равнодушия к величайшим человеческим борениям и исканиям. Скорей наоборот, догмы ценит тот, кто равнодушен к человеческому и божескому творчеству. Ему хочется знать, твердо знать, что где-то кем-то уже все сделано и что потому можно спокойно верить, т. е. пережевывать жвачку. И вот, когда Толстой, весь охваченный трепетом ужаса и радости, идет к своей “таинственной книге” и, вопреки тысячелетним традициям и сложившимся “догмам”, находит в ней слова, опрокидывающие весь строй нашей внутренней и внешней жизни, – мы поражаемся его силой и величием. Мы начинаем думать, что и в самом деле на него сошла благодать, что он сподобился почувствовать дыхание Бога, его восторг сообщается нам, и мы с затаенным дыханием ждем. Но, – увы! – человек, даже величайший человек, остается человеком, как и высочайшие земные вершины Кавказа и Гималаев, сравнительно со всем земным шаром – только небольшие кочки. Надолго вынести вид Бога, навсегда соединиться с бесконечным не дано смертному. Даже то волнение, которое вызывает у человека близость смерти, хотя бы он, как Толстой, дважды прямо взглянул ей в глаза, не может дать сил, нужных для того, чтоб надолго оторваться от земли. На мгновение человек, как кузнечик, взлетит на высоту – и вот он уже снова на своем прежнем месте и либо твердит увядшие и засохшие слова давно умерших догм, как то делают противники Толстого, либо повторяет подсказываемые ему разумом твердые правила и вечные истины. Толстой так именно и поступает с Евангелием. Он ищет в этой “таинственной книге” правил жизни. Не противясь злему, не клянясь, не прелюбодействуя, не покидая женщины, которая была однажды твоей женой, и т. д. Все дело, говорит он нам, в том, чтоб извлечь из Евангелия указания о том, как поступать в жизни, для того, чтобы жизнь стала не кромешным адом, как теперь, а светлым, ясным, радостным раем. Он старается цитатами из Евангелия доказать, что Христос именно затем пришел на землю, чтобы научить людей, как им лучше устроиться, “Христос учит не спасению верой или аскетизму... но он учит жизни такой, при которой, кроме спасения от погибели личной жизни, еще и здесь, в этом мире, меньше страданий и больше радостей, чем при жизни личной”. И еще: “Учение Христа имеет и самый простой, ясный, практический смысл для жизни каждого отдельного человека. Этот смысл можно выразить так: Христос учил людей не делать глупостей. В этом состоит самый простой, всем доступный смысл учения Христа”. Обе эти цитаты взяты мной из X главы книги “В чем моя вера?” Но в VIII главе указывается еще на один смысл учения Христа: “В признании этой своей мирской, личной жизни за что-то действительно мне принадлежащее и лежит недоразумение, препятствующее пониманию учения Христа”... “Смерть, смерть и смерть каждую секунду ждет вас. Жизнь ваша совершается в виду смерти. Если вы трудитесь лично для себя в будущем, то вы сами знаете, что в будущем для вас одно – смерть. И эта смерть разрушает все, для чего вы трудились. Стало быть, жизнь для себя не может иметь никакого смысла”. Жизнь для себя не может иметь смысла, это усмотрел Толстой в Евангелии. Но тогда зачем же искать радостей, хотя бы не тех, которые ценят обыкновенные люди, а более высоких и чистых? Ведь что бы там ни говорили, а радость есть чисто индивидуальное, личное чувство, и если нужно отречься от себя, от своей индивидуальности, то где уже тут о радостях думать! Но Толстой радости не уступит, как не уступит он разума, ибо это, выражаясь его словами, было бы ложью. И в самом деле это было бы ложью – для Толстого. После второго кризиса, как и после первого, Толстой заговорил о самоотречении, о жертве, об опростении. Пьер ведь тоже, как и Толстой после “Исповеди”, выучился своей новой истине у Платона Каратаева, воплотившего в своем лице страдающий, смиренный и верующий русский народ. Пьер тоже испытал потребность отречения и жертвы. Кончил же компромиссом: он умилился и дивился русскому народу, он старался внутренне совершенствоваться, он и на самом деле совершенствовался, – но он не отказался от сладости жизни и продолжал, под руководством разума, возможно лучше устраивать свою судьбу. “Ах, как хорошо! Ах, как славно!” Не знаю, как другие – что до меня, то я эти слова Пьера слышу и в религиозно-богословских произведениях, написанных Толстым после второго кризиса. С другой стороны, он упрекает современных христиан в неверии, ибо, говорит, у них нет силы, нужной для веры. Вот эти замечательные по глубине и силе слова: “Они (христиане) могут молиться Христу-Богу, причащаться, строить церкви, обращать других; они все это и делают, но не могут делать дел Христа, потому что дела эти вытекают из

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org)  
веры, основанной на совсем ином учении, нежели то, которое они признают. Они не могут принести в жертву единственного сына, как это сделал Авраам, между тем как Авраам не мог даже задуматься над тем, принести или не принести своего сына в жертву Богу, тому Богу, который один дает смысл и благо его жизни". Это – страшный вызов, брошенный Толстым современным верующим людям и своему собственному "учению", поскольку оно проповедует "разум". Кто осмелится принять его? Кто принесет своего первенца в жертву? Вспомните вопрос Достоевского о замученном ребенке. Когда на старости лет этот вопрос (в иной только форме) пришел в голову Миллю, он заявил, что скорее готов допустить, что Бог не совсем всемогущ, чем что с его воли и согласия происходят на земле подобные ужасы. Джемс говорит еще резче: такого Бога он бы ни за что не признал Богом. И надо прямо сказать: разум наш никогда не оправдает жертвы Авраама, никогда не отдаст на заклание живого ребенка, – хотя бы и по требованию самого Бога. Если же найдется человек, который в самом деле отдаст на заклание свое любимое детище или даже, как Авраам, сам занесет нож над ним, то сомнения уже быть не может: он отверг разум и действовал в порыве безумия. Таковыми и были все пророки. Послушайте их, посмотрите на их жизнь. Бог велел Иезекиилю есть человеческие отбросы – и Иезекииль послушался, ел. Если бы современный психиатр увидел Иезекииля, исполняющего волю Бога, ему бы и в голову не пришло, что пред ним пророк, и он без колебания надел бы на него смиренную рубашку. То же сказали бы (и говорили) врачи, интересовавшиеся душевными состояниями Толстого не после, а во время кризисов, т. е. не тогда, когда Толстой при помощи разума забывал сомнения, а тогда, когда сомнения побеждали разум. В эти же, именно в эти периоды – и в молодости, и в старости – Толстой более всего напоминает истинного пророка. Вера с разумом никогда не примирятся. Никогда не примирятся душевный покой и счастье с жертвой Авраама: тот, кто однажды убил своего сына, может быть, будет великим гением, пророком, благодетелем человечества, но счастливым, разумным и спокойным человеком он уже не будет никогда. И, наоборот, та непримиримая вражда со счастьем и разумом, на которую иные люди отдают всю свою жизнь, имеет большей частью свое начало и источник в великой, нечеловеческой жертве. Может быть, нужно, как учит Лютер, уверовать, что для спасения твоей одинокой, презренной, грешной душонки потребовалось совершить преступление из преступлений, распять Сына Божьего, совершеннейшее существо; может быть, нужно уверовать в эту нелепость, в этот абсурд, чтобы раз навсегда перестать ценить разум с его истинами и законами и преодолеть тот кошмар нашей духовной ограниченности, который именуется современным познанием.

## IX

И вот, говорю, в Толстом после второго кризиса, как и после первого, в Толстом "Войны и мира", как в Толстом "Исповеди" и "Крейцеровой сонаты", наблюдается органическое соединение двух, по-видимому, совершенно несоединимых душ. С одной стороны, в нем живет пророк, готовый последовать примеру Авраама и даже Иезекииля, готовый сродниться с безумием, вызвать на смертный бой здравый смысл и пренебречь всеми радостями жизни. Таким он бывает в периоды своих кризисов, до той поры, пока здравый смысл не убедит его спуститься в низовья обыденности, твердого знания, правил и "счастья". С другой стороны – он судорожно держится за разум и учит людей надеяться, что религия есть как раз то, что помогает нам устраивать свою жизнь. После "Исповеди", после того, как он уверовал уже в Бога, муки сомнения и неверия далеко не покинули его. Я не говорю уже о "Смерти Ивана Ильича". Может быть, в этом рассказе Толстой изображает то, что он испытал до своего второго обращения (но после первого, что тоже имеет для нас большое значение). Но "Крейцера соната"? Даже для слепого ясно, что она порождена какими-то переживаниями, возникшими совершенно независимо от всех религиозных борений и исканий. Именно в то время, когда Толстой радостно отдавался своей высокой учительской миссии, – открывал людям Евангелие, – в его жизни произошло нечто неслыханно тяжелое, отвратительное и постыдное. Если бы Толстого в это время кто-нибудь ударил по щеке, он бы спокойно и легко, даже с радостью подставил бы другую. Но тут был, очевидно, такой удар (и, может быть, не от чужой, а своей собственной руки), такое ужасное осквернение души, на которое для Толстого, как для Позднышева, был возможен один ответ: кинжалом. Подчеркиваю, для Толстого, верующего в Евангелие и непротивление злу, не было другого выхода. Об этом говорит каждая строчка, каждое слово "Крейцеровой сонаты": имеющий уши, да слышит. Но Толстой не убил, а смысл оскорбление, написавши новое гениальное произведение. Пусть

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org)  
специалисты в делах чести разрешают вопрос, можно и должно ли таким способом смывать оскорбления. Мне кажется, что если существует загробная жизнь, такой вопрос будет поставлен не только по поводу “Крейцеровой сонаты”, но также по поводу многих других гениальных произведений. Как он будет решен, сказать не берусь, и здесь мы его касаться не будем: в силу своей всеобъемлемости он может быть решен только на страшном суде, ибо в нашем эмпирическом мире мы не найдем достаточных данных для его освещения. Я хочу указать лишь на то, что Толстой знает, что такое жертва Авраама и каково заносить руку на то, что тебе дороже всего на свете. И когда он в своих сочинениях рассказывает нам о своих жертвах, мы уже не можем верить его уверениям, что так хорошо и так славно жить, и что Христос может научить еще лучше и еще приятнее жить. Мало можно назвать писателей, которые умели бы так подрывать веру в разум и возможность счастливого устроения на земле, как Толстой. Достигает он этого больше всего несоответствием даваемых им ответов с предлагаемыми им же самим вопросами. Недаром он два раза видел смерть, два раза разрушал и два раза созидал мир. Кто научился у Толстого спрашивать, кто воспринял, как Толстой, казнь преступника, смерть брата, пытку Ивана Ильича, обиду Позднышева, тот, может быть, будет протестантом или католиком, позитивистом или метафизиком, – но во всяком случае, каких бы верований или учений он ни держался, они даже и приблизительно не выразят его действительного отношения к миру, Богу и людям. Мне кажется, что, может быть, “учение” Толстого оттого так ясно, просто и неубедительно, что он бессознательно чувствует, что все равно не претворишь в слово всего того, что накопилось в душе за долгие 80 лет трудной, сложной и огромной жизни. Разуму такая задача не по силам: пусть берется за посильные задачи. Пусть обличает, проповедует, вырабатывает правила жизни, утешает и учит людей. Ничего, конечно, значительного из этого не выйдет, но та часть нашего существа, которая покоряется разуму, очень мало и требует.

В “Детстве и отрочестве” Толстой рассказывает, что Карл Иванович, узнавши, что Иртеньев отказывает ему от места, вернулся в классную и продиктовал детям следующую фразу: Von alien Leidenschaften die grausamste ist die Undankbarkeit. [11 – Из всех страстей самая жестокая – неблагодарность (нем.) ] И это все удовлетворило. “Лицо его не было угрюмо, как прежде, оно выражало довольство человека, достаточно отметившего за обиду”. Часто, когда я читаю негодующие статьи Толстого по поводу действительно ужасных событий нашей современности, я вспоминаю немецкую фразу Карла Ивановича. Ибо толстовское негодование, как я уже указывал в начале статьи, так же мало устраняет зло и наказывает злых, как и диктант Карла Ивановича. Оно довлеет себе и разве только дает довольство человеку, воображающему, что он достойно отметил за обиду. Разум, когда ему выпадает руководящая и ответственная роль, всегда приводит к таким бедным и обидным результатам – и потому вся задача в том, чтобы отнять у него раз навсегда руководство. Может быть, задача покажется по существу противоречивой и неисполнимой. В тайниках человеческой души, по-видимому, живет вечная боязнь, что наиболее глубокие и священные запросы наши не могут быть удовлетворены. Иногда даже кажется, что и не должны быть удовлетворены. Ренан превосходно выразил эту мысль в следующих словах: “Une compl;te obscurit;; providentielle peut;tre, nous cache les fins morales de l’univers. Sur cette mat;re, on parie; on tire; la courte paille, en realit;; on ne salt rien. Notre gageure, ; nous, notre real acierto ; la ;on espagnole c’est que l’inspiration int;rieure qui nous fait affirmer le devoir est une sorte d’oracle, une voix infaillible, venant du dehors et correspondant ; une r;alit; objective. Nous mettons notre noblesse en cette affirmation obstin;e, nous faisons bien; il taut y tenir ;me centre l’;vidence. Mais il y a presque autant de chances pour que tout le contraire soit vraie. Il se peut que ces voix int;rieures proviennent d’illusions honn;tes, entretenues par l’habitude, et que le monde ne soit qu’ une amusante ;erie dont aucun dieu ne se soucie. II faut donc nous arranger de manire que, dans les deux ;ses, nous n’ayons pas eu compl;tement tort. Il faut ;couter les voix sup;rieures, mais de fa;on que dans le cas la seconde 32;se serait la vraie, nous n’ayons pas trop dupes. Si le monde, en effet, n’est pas chose serieuse, ce sont les gens dogmatiques qui auront ; frivoles, et les gens du monde, ceux que les ;ologiens traitent d’etourdis, qui auront ;t; les vrais sages”. [12 – Полная темнота, быть может, провиденциальная, скрывает от нас моральные конечные цели вселенной. На этот счет держат пари; вытаскивают короткую соломинку, в реальности никто ничего не знает. Наш заклад, наш real acierto на испанский манер – это внутреннее вдохновение, которое заставляет нас утверждать, что долг есть некий оракул, непогрешимый голос, исходящий извне

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org)  
и соответствующий объективной реальности. Мы ставим наше благородство на это упрямое утверждение, мы поступаем хорошо; это следует считать даже центром всех свидетельств. Но имеются почти равные шансы, что правильным окажется противоположное. Возможно, что эти внутренние голоса происходят из честных заблуждений, питаемых привычкой, и что мир всего лишь забавная феерия, которой не интересуется ни один бог. Итак, нам следует принять, что в обеих этих гипотезах мы не полностью неправы. Следует внимать высшим голосам, но таким образом, чтобы в случае, если правильной окажется вторая гипотеза, мы не оказались слишком в дураках. Если мир действительно не является серьезной вещью, то легкомысленными оказываются догматики, а люди мирские, те, кого теологи трактуют как легкомысленных, оказываются истинными мудрецами. (франц.) ] Ренан прав: иногда человеком овладевает мучительная мысль, что его святыня, то, что ему дороже всего на свете, – есть только пошлая вульгарность и что на престол нужно возвести именно обыкновенную вульгарность, которую он всегда гнал от себя и презирал, но которая одна и представляет из себя неистребимую временем, вечную сущность жизни. Кто не знал этого искушения, тот, значит, не был даже еще у порога последней жизненной загадки. Достоевский называл бы такого человека желторотым. Такому еще можно надеяться на разум и искать в разуме опоры. Он может считать наше знание совершенным знанием, он может в проповеди находить утешение и удовлетворяться негодующими словами. Он может и в сознательном, разумном учении Толстого видеть сущность его жизни и деятельности. В послесловии в “Крейцеровой сонате” он может найти объяснение этого гениального произведения, в восклицаниях Пьера “ах, как хорошо, ах, как славно!” и в соответствующих местах богословских и моральных сочинений Толстого он может найти отклик на свои задушевнейшие мечты и даже признаки вечной, непоколебимой веры. И ему ничего возразить нельзя. Последние цели мироздания, как говорит Ренан, скрыты в глубоком мраке и, быть может, по воле Творца. Но если это так, если и в самом деле у нас нет и не может быть ясных указаний на то, кто владеет нами и чего от нас требуют, если наш разум так устроен, что он равно допускает самые противоположные объяснения мировых целей и готов поочередно возводить на престол и пошлость и высокую добродетель, – кто же может заставить нас жить в мире с таким разумом? Добро бы он был всемогущим или если хоть не всемогущим, то очень могущественным, мог бы справиться с нашими элементарными нуждами! Может быть, своекорыстное человечество соблазнилось бы материальными выгодами. Но, рано или поздно, наступает момент в нашей жизни, когда разум бессильно пасует и не умеет ничего для нас сделать: как страшно и как чудесно рассказывает об этом Толстой! И тогда возникает у человека непреклонное решение раз навсегда порвать с этим жалким и коварным союзником. Что угодно, только не разумное! И тогда, только тогда, когда человек почувствовал совершенную невозможность жить с разумом, впервые возникает у него вера. Большею частью он этого не знает, т. е. он не думает, что его изменившееся отношение к миру заслуживает такого названия, что оно вообще имеет какую-нибудь заслугу, чего-нибудь стоит! Он думает, что верой можно называть приверженность человека к какой-нибудь церкви, к каким-нибудь догмам, к этическим учениям или, по крайней мере, интерес к так называемым последним вопросам нашего бытия. А то, что в нем – все так дико, гнусно, беспорядочно, хаотично, нелепо, отвратительно, все подлежит истреблению, уничтожению. Бесподобно рассказал покойный Чехов о таких своих душевных состояниях в “Скудной истории”. Об этом же рассказывает и Толстой во всех своих сочинениях, поскольку они отражают в себе оба пережитых им кризиса, обе его встречи со смертью. И именно то, что выводит нас из нашего обычного равновесия, что разрывает, раздробляет на бесконечно малые части наш опыт, что отнимает у нас радости, сон, правила, убеждения и твердость, все это – есть вера, все это – моменты соприкосновения с мирами иными, выражаясь словами Достоевского. И пока мы живем в этом мире, не может быть и речи о том, чтобы вера была нашим постоянным душевным состоянием. Человеку нужна передышка. Нужно ему вздохнуть и сказать: “Как хорошо, как славно!”, нужна ему твердость, правила, почва. И в силу того, что с незапамятных времен человек приучился думать, что там, где ему хорошо, где есть обеспеченность и уверенность в завтрашнем дне, там и последняя истина, и вечное, неистребимое временем, благо, такие душевные состояния и называются великим словом “вера”, – они же потому и согласуются с нашими знаниями и с нашим разумом, дабы общими усилиями веры, знания и разума создать прочный оплот для бедной, предоставленной всем случайностям человеческой жизни. Дважды взглянул в лицо настоящей смерти Толстой, дважды вырывался он из власти человеческих суеверий и предрассудков, и много рассказал он нам о том ином мире, куда звала его страшная гостья. И оба раза он вернулся обратно. Может, прав был Ахилл: лучше быть поденщиком в этом мире, чем царем в мире теней, и прав

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org)  
был Экклезиаст – лучше быть живым псом, чем мертвым львом. И Ренан, быть может, прав: не следует рисковать даже в области философии. Но Толстой стал Толстым и научился разрушать и создавать миры лишь после того, как он взглянул в лицо смерти и постольку, поскольку он ушел от наших традиционных истин. Его “Исповедь” кончается, как читатель помнит, описанием приснившегося ему сна. Самое замечательное в этом рассказе не его мораль, как хочет Толстой, а единственная в своем роде передача логики сновидения. В этом нужно видеть великий символ, здесь нужно искать разгадку толстовского гения. Кончается сон такими словами: “И тут, как это часто бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, очень естественным, понятным, несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет смысла”. Вот Толстой, тот, который написал “Три смерти” и через полстолетия написал “еще три смерти”. Он наполовину пробудился от сна жизни и чувствует, что естественность, понятность и несомненность вовсе не там, где нас приучили искать их наши учителя, эмпирики и метафизики, верующие и безбожники. Власть традиций бессильна над тем, кто может и должен открыть глаза. К счастью, к радости ли это – Бог весть. Но к чему-то совсем новому, неизведанному, – это несомненно... Вероятно, статья эта не попадет на глаза Толстому. О нем всегда, а теперь в особенности, так много пишут, что он едва ли в состоянии прочесть и сотую долю посвящаемых ему статей. Но если попадет, он наверное скажет обо мне, как говорил о Ницше, “рака” или безумный – не испугавшись ни синедриона, ни геенны огненной. С этим нужно примириться. Я же закончу тем, с чего начал. The time is out of joint. И прибавлю: мы пальцем о палец не ударим, чтобы поставить время на его прежнее место – пусть разбивается вдребезги.

Примечания

1

Распалась связь времен... В. Шекспир (англ.).

2

Приведу буквально слова Свидригайлова: “Я согласен, что привидения являются только больным; но ведь это только доказывает, что привидения могут являться только больным, а не то, что их нет самих по себе... Привидения – это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку их, разумеется, незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек и, стало быть, должен жить одной здешней жизнью, для полноты и для порядка. Ну, а чуть заболел, чуть нарушился нормальный, земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность иного мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше”. Свидригайлов еще делает своеобразный вывод: “Так что, – кончает он свое рассуждение, – когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир”. Джемс такого вывода не делает и вообще формулирует свои мысли менее рельефно, чем Свидригайлов.

3

Верую, ибо невероятно (лат.).

4

Затруднение при выборе при изобилии (фр.).

5

Я одобряю только тех, кто ищет, стеная (фр.).

6

“что такое религия и в чем ее сущность?”

7

Приведу отрывок из книги “В чем моя вера”, чтоб читатель имел пред глазами образец отношения Толстого к чужим верованиям: “Еще с большей торжественностью и уверенностью утверждает то, что после Христа верю в него человек освобождается от греха, т. е. что человеку после Христа не нужно уже разумом освещать свою жизнь и избирать то, что для него лучше. Ему нужно верить только, что Христос искупил его от греха, и тогда он безгрешен, т. е. совершенно хорош. По этому учению люди должны воображать, что в них разум бессилен, и что потому-то они и безгрешны, т. е. не могут ошибаться”. Как верно логически это *reductio ad absurdum* учения о благодати и вместе с тем, как ненужно оно и как мало оно имеет отношения к тому, что происходило с Лютером...

8

Третьего ... не дано (лат.).

9

Я уже не говорю о “Соединении, переводе и толковании 4 Евангелий”, в котором Толстой пускается в самые тонкие вопросы экзегетики и даже в филологические изыскания о значении греческих слов.

10

Война всех против всех (лат.).

11

Из всех страстей самая жестокая – неблагодарность (нем.)

12

Полная темнота, быть может, провиденциальная, скрывает от нас моральные конечные цели вселенной. На этот счет держат пари; вытаскивают короткую соломинку, в реальности никто ничего не знает. Наш заклад, наш *real acierto* на испанский манер – это внутреннее вдохновение, которое заставляет нас утверждать, что долг есть некий оракул, непогрешимый голос, исходящий извне и соответствующий объективной реальности. Мы ставим наше благородство на это упрямое утверждение, мы поступаем хорошо; это следует считать даже центром всех свидетельств. Но имеются почти равные шансы, что правильным окажется противоположное. Возможно, что эти внутренние голоса происходят из честных заблуждений, питаемых привычкой, и что мир всего лишь забавная феерия, которой не интересуется ни один бог. Итак, нам следует принять, что в обеих этих гипотезах мы не полностью неправы. Следует внимать высшим голосам, но таким образом, чтобы в случае, если правильной окажется вторая гипотеза, мы не оказались слишком в дураках. Если мир действительно не является серьезной вещью, то легкомысленными оказываются догматики, а люди мирские, те, кого теологи трактуют как легкомысленных, оказываются истинными мудрецами. (франц.)

Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,  
недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет  
магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных  
сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!